

СОЛОМОН
ВОЛКОВ
**Диалоги
с Евгением Евтушенко**

при участии Анны Нельсон



Диалоги Соломона Волкова

СОЛОМОН ВОЛКОВ

Диалоги с Евгением Евтушенко

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

Волков С. М.

Диалоги с Евгением Евтушенко / С. М. Волков — «Издательство АСТ», 2018 — (Диалоги Соломона Волкова)

ISBN 978-5-17-107768-6

«Диалоги с Евгением Евтушенко» – беседа писателя Соломона Волкова и поэта Евгения Евтушенко, состоявшаяся в 2012 году и затем, в 2013-м, в сокращенном виде вошедшая в одноименный фильм (режиссер Анна Нельсон), показанный на Первом канале. Книги-диалоги Соломона Волкова давно стали культовыми. Его собеседниками в разные годы были Иосиф Бродский, Д.Д. Шостакович, Джордж Баланчин, Владимир Спиваков и многие другие. В этой книге Евгений Евтушенко, тончайший лирик, живший по принципу «поэт в России – больше, чем поэт», рассказывает Волкову об эпохе, творчестве, знаменитых современниках, личной жизни.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-107768-6

© Волков С. М., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Анна Нельсон	6
1. Вместо предисловия	6
2. Как всё началось...	8
3. Процесс съемок	9
4. Как СВ интервьюировал ЕЕ	12
5. Что такое город Талса: особенности университетской жизни	14
6. Post Scriptum	17
Соломон Волков	19
Пролог. Встреча	19
Ранний Евтушенко	21
Так как же вас зовут?	21
Дедушки и их дружба	24
Няня Нюра	25
Ложный развод родителей	26
Отец и первые стихи	27
Довоенная Москва	32
Любимое кино	32
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Соломон Волков, Анна Нельсон

Диалоги с Евгением Евтушенко

© Волков С.М., 2018

© Нельсон А.А., 2018

© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Анна Нельсон Записки о Талсе

*Но, как известно, именно в минуту отчаянья и начинает дуть
попутный ветер.*

И. Бродский

1. Вместо предисловия

Отсутствие дневников и любых записей о декабре 2012 года казалось мне единственной формой забвения, попыткой искусственно похоронить внутри своей жизни те дни. Но, как сказал Бродский, «время, столкнувшись с памятью, узнаёт о своем бесправии». Ничего не вышло. Я, как назло, легко могу всё воспроизвести. И даже то тупое отчаяние, наивысшую его степень. Когда воля парализована и уже все равно, что будет дальше. Когда физическое ощущение предопределенности выше возможности воспротивиться ходу событий.

Итак, собачий холод того серого декабря. Срединная Америка. Центр провинциального города Талса, штат Оклахома. Я стою с температурным (как всегда, это случается некстати) ознобом на высоченной крыше отеля. Подо мной на все четыре стороны распластан город летаргического сна: абсолютно пустынные улицы соединяют не подающие признаков жизни массивные небоскребы. Стерильную упорядоченность этой пустоты задают сменяющие цвета светофоры. Ни души – без литературного преувеличения – до линии горизонта. Нитевидный пульс города. О наличии внизу, в этой глубине, жизни свидетельствуют редкие точки проползающих автомобилей. Ледяной ветер порывами взбалтывает эту пустоту и перемалывает выхваченные из нее звуки механических колоколов – здесь много церквей. Как потом заметит Соломон Волков, наблюдавший ту же широкую панораму на центр города из окна своего номера в отеле «Мама и нейтронная бомба» (название одной из поэм Евтушенко). Этому городу Евтушенко отдал с четверть века.

На продуваемой крыше нет перил, один шаг в сторону – бездна. Я заглядываю в нее, чтоб с кинематографической точки зрения оценить окрестности. Но вижу лишь высоту (точнее, глубину) своего внутреннего падения. Никакого кино у меня не получается... Зачем я ввязалась во всё это? – риторический вопль, который я буду многократно душить в себе в минуты беспощадно подавляемой слабости.

Поясню: в Талсе мы снимаем фильм, построенный на диалогах Соломона Волкова с Евгением Евтушенко. Эти диалоги мы будем снимать семь дней (за которыми последует год работы над фильмом и еще несколько лет – над книгой), все семь – в ощущении катастрофы, в атмосфере патологического недоверия и нелюбви. С Соломоном Волковым меня связывает глубинная близкая дружба, но на момент съемки – разъединяет тяжелая ссора, казавшаяся уже непреодолимой (к счастью, только казавшаяся). Мы цедим ядовитые слова сквозь зубы и умудряемся работать. С Евгением Евтушенко – несколько лет знакомства, он не воспринимает меня всерьез, ему не так важно, что со всем этим диалогом станется, ему важен сам акт разговора с Соломоном Волковым. Он, не скрывая скепсиса, то и дело называет мой еще никому неведомый «грандиозный» замысел «передачкой» и по-честному перед началом съемок оглашает свою концепцию взаимодействия: никакой помощи, никакого доступа к личному фото- и видеоархиву, никаких дополнительных кадров, только техническая фиксация самого разговора с его *vis-à-vis*. Я знаю, что Евтушенко уже очень болен, но насколько сильно – пойму много позже.

Тем не менее владеет ситуацией, как известно, тот, в чьих руках находится монтаж, – на мне серьезная ответственность за двух героев фильма (теперь во многом и книги). Двух сложных и великих стариков (хотя по отношению к ним последнее слово кажется избыточным, и уместным лишь по факту давности их рождения). Во время съемок в Талсе ни один, ни другой со мной особо не сотрудничают.

О Евтушенко к моменту начала нашей работы снято множество фильмов, он рóздал за свою долгую жизнь астрономическое количество интервью... Но интервью и фильмы о нем уже давно не становятся частью общественного дискурса, его слова оседают в белом шуме, он знаменитый персонаж прошлого, архаика, и поколение Миллениума иногда путает его и Вознесенского.

Мне нужно придумать такое кино, которое вышло бы за рамки нормы, не погубив при этом участников. Воображаю себя эскулапом, руководствующимся древним принципом «не навреди», и трезво, безо всякого пафоса, оцениваю ситуацию: перед большой историей у меня нет права на холостой выстрел или небрежность. Хотя бы по двум причинам. Для Соломона Волкова, человека чрезвычайно закрытого, на кону – жизненная репутация: это его первое (!) появление в большом проекте на большом экране. Для Евгения Евтушенко – возможно, последнее.

2. Как всё началось...

Чтоб расставить точки над «i» – немного предыстории. Я журналист, в 2010 году переехала из Москвы в Нью-Йорк. Как, видимо, не случайно всё случайное, так моя встреча и впоследствии дружба с Соломоном Волковым здесь, на другом берегу, в некотором смысле Провидение. Мне выпала неожиданная радость обнаружить в нём родственного человека с редким совпадением душевных разъемов.

На момент, имеющий отношение к делу, Соломон попадает в весьма драматические жизненные обстоятельства. Очень личного свойства, поэтому оставляю их за скобками. Он в добровольном заточении, почти не покидает своих четырех стен, заставленных от пола до потолка книгами. Своих – не пишет уже три года. Необустроенный быт, сужающиеся объятия бедности, депрессия в отсутствии тому свидетелей. Он мизантроп, едва ли не единственный из моих знакомых, не пользующийся мобильным телефоном. Он еще не обзавелся Фейсбуком и, по большому счету, не имеет связи «с материком» – оттого пребывает в искреннем, без позы, неведении относительно культовости своей фигуры. Он не знает, что, например, его «Диалоги с Бродским» – настольная книга поколения интеллектуалов. Изменивший посмертную судьбу композитора Шостаковича (я видела, как, столкнувшись с ним в служебном лифте Карнеги-холла, музыканты узнают его и с почтением провожают глазами), собеседник балетмейстера Баланчина (их диалоги – Библия для балетоманов всего мира), скрипача Мильштейна, пианиста Горовица, балерины Плисецкой и еще, может быть, десятка гениев XX века... На моих глазах очень близкий мне человек, один из самых светлых умов времени погружается в большую темноту и интересуется «мягкими формами» самоубийства. Сбой, какая-то ошибка мироздания...

И вот однажды Соломон звонит мне и рассказывает, что Евгений Евтушенко написал ему письмо, в котором сообщил о готовности к большому итоговому разговору. Разговору только с ним, с Соломоном. В свою очередь Соломон делает мне предложение фиксировать их общение – снимать диалог на камеру. А как распорядиться материалом – будет видно по ходу дела...

В 2012-м я, признаюсь, довольно равнодушна к Евтушенко (через некоторое время я посмеюсь над своей категоричностью). Но мне не хочется пассивно наблюдать, как стремительно обнуляется жизнь дорогого мне Соломона. Его предложение кажется исключительной возможностью привести план в действие. А именно – «подправить что-то в консерватории» и хоть немного приблизить торжество справедливости.

Будучи журналистом нью-йоркского бюро Первого российского канала, подхватывая идею, лечу в Москву, к руководству. Раскладываю ситуацию, клянусь снять большое кино и через час выхожу, заручившись поддержкой Кирилла Клейменова (заместителя генерального директора Первого канала) и Константина Эрнста (гендиректора Первого канала). Я не могу не ценить это принятое ими решение, доверие и протянутую руку...

Я встраиваюсь в отношения Волкова и Евтушенко, становлюсь частью треугольника и организатором встречи: вступаю в переписку с Евгением Александровичем, его прекрасной женой Машей (женщиной редкой красоты и терпения). И довольно скоро обнаруживаю себя, Соломона и большую съемочную группу – четыре замечательных оператора – с тонной аппаратуры в самолете, летящем из Нью-Йорка в Талсу, штат Оклахома. Ночь, турбулентность (внешняя и внутренняя), тусклый свет. Оглядываюсь на СВ – в его руках, как и в моих, том стихов ЕЕ... СВ и ЕЕ – так наши герои будут фигурировать в рукописи.

Морозным утром мы уже будем снимать без дублей и подготовки первую сцену: два немолдых человека идут навстречу друг другу. Приблизившись, они неловко обнимаются, как это часто бывает с давно не видевшимися людьми. Мотор! Начали.

3. Процесс съемок

Съемки велись в библиотеке университета города Талса, где ЕЕ преподавал последние двадцать пять лет жизни.

После того как в проеме библиотечной двери появилась очередная голова любопытствующего студента, я вооружилась скотчем и наспех прилепила у входа лист А4 с угрожающей надписью типа «не влезай – убьет». Правда, очень скоро вежливые американцы из руководства библиотеки перефразировали угрозу: на месте моего импульсивного – повис их А4, аккуратный – «будьте любезны, если вас не затруднит, пожалуйста, не входите, большое спасибо». Так библиотечный зал стал нашей неприкосновенной вотчиной на следующие семь дней.

Каждое утро начиналось с ритуала – я отправляла СВ в сопровождении съемочной группы в библиотеку, а сама выезжала на машине за ЕЕ в его небольшой уютный профессорский дом. Там мне буквально из рук в руки передавала его жена Маша:

– Вот его сумочка с лекарствами, вот книжки, вот теплая кофта, вот... Женя-надень-шарф!

Она обязательно обнимала его на прощание и очень как-то по-особому, по-матерински, прикладывала руку к его худой щеке. А потом оставалась стоять в одном платье на пороге дома, чтоб проводить глазами отъезжающий автомобиль.

Дорога занимала минут пятнадцать и всегда была мучительным мероприятием – обычно разговор не клеился. Но иногда ЕЕ вдруг начинал говорить. Например, о том, что «Америка – тоталитарная страна». В том смысле, что жизнь здесь жестко расчерчена на клетки законов, правил и общественных условностей. «Но Америка дает иллюзию, а иллюзия – это и есть счастье». Или вдруг начинал вспоминать о том, что когда снимал свой первый фильм как режиссер, то понял: главные люди на площадке – это осветители. Без них – никуда. «Если они сказали, что день закончен – всё, процесс встал – работе хана». Я понимаю, но скрывая иронию, кивала – специальных осветителей у меня не было.

За те семь дней я освоила роли и швеца, и жнеца. Каждому съемочному дню предшествовала пространная молчаливая мистерия. Мои герои в глубокой задумчивости послушно усаживались в кресла, я причесывала поочередно их седые головы, а потом заносила кисточку с пудрой над их лицами. (До тех пор экспериментальным холстом служило мне лишь собственное лицо.) Я прекрасно понимала, кто передо мной – эти двое существовали на другой эволюционной ступени развития: я – здесь, они – в истории. В этом смысле дыхание вечности через плечо ощущалось все время.

В некоторые дни ЕЕ был особенно бледен. Я добавляла румян... По косвенным признакам я чувствовала, что тему здоровья ЕЕ отодвинул в разряд табуированных (теперь я понимаю, что это, видимо, был короткий период, когда врачам удавалось сдерживать прогрессирование рака). Ощущение аварийности ситуации появлялось по нарастающей, с кульминацией к концу съемок. Эти подробности не праздная констатация или попытка обрисовать атмосферу, они имеют отношение к тому удивительному евтушенковскому стоицизму и витальности, свидетелями которых оказались все участники съемочного процесса.

В предварительной переписке с ЕЕ мы условились, что будем снимать по четыре часа в день. Но после первого дня работы все планы и графики покатались в тартарары: у Евтушенко хватало сил говорить часов по семь. Больше я такого – если хотите, чуда (потому что с физиологической точки зрения это плохо объяснимо) – не видела никогда: как только загорался свет юпитеров, он мгновенно оживал, источал энергию. И в этом не было игры или фальши (упреки в «профессиональной искренности» и манерности ЕЕ перед камерой мне потом приходилось

слышать не раз)... Да, в исповеди перед камерой есть какая-то заведомая неправда и неловкость. Но в правилах, как знаем, бывают исключения... Надо понимать, что публичность в его случае – естественное топливо, и любая аудитория – источник не только вдохновения, но жизни.

Он единственный мог работать без перерыва вообще. Он и был в этом смысле сверхчеловеком. Вместо обеда, испытывающий приступы боли в ноге, он глотал горстями обезболивающее... Я видела, как операторы, по многу часов державшие фокус, отрывались от своих видеоискателей и по очереди ложились на пол в попытках снять мышечные спазмы в спине, а он продолжал. Я видела, как теряли нить слушатели (мы все, присутствовавшие на площадке), тупея от усталости и бездвижности, но не он – он продолжал!.. В конце дня, как только камеры выключались, его лицо сползало в маску без какого бы то ни было выражения, и он уже с трудом мог встать. А на утро история повторялась.

Рассказ иногда приходилось рубить «по живому» и объявлять перерыв: текла кровь из ушей, из носа... По просьбе жены Маши во время пауз мне вменялось согреть дыханием в руках тюбик, а потом выдавливать из него в его левое ухо по четыре капли. Он ложился на диванчик в углу огромного зала библиотеки, поджимал худые длинные ноги как-то калачиком... становился маленьким... и я капала, шепча – раз-два-три-четыре...

Таблетки ЕЕ запивал грассхоппером – приторным кофе с ментоловым сиропом и густой пеной – это был особый предмет его любви и гордости за университетский буфет. Он настаивал на ежедневной дегустации и в конце концов посадил на этот грассхоппер всех нас, не желающих его расстраивать. Его готовили в буфете этажом ниже, и в съемочных паузах я сломя голову бежала по лестнице через ступеньку, чтоб успеть купить всем по бутерброду и обязательно по стаканчику грассхоппера.

Пару раз в перерывах за ЕЕ заезжала Маша, чтоб отвезти его «на перевязки к врачам» и вернуть обратно... Ближе к середине пути уверенности, что на следующий день съемка продолжится, не было никакой. ЕЕ не мог сидеть в прежней позе в кресле, ноющие боли в правой ноге сводили его с ума. Тогда мы с операторами соорудили под декоративным столиком у его кресла некую конструкцию – пух с подушками, замаскировали его, чтоб не было видно в кадре. Так ЕЕ мог держать ногу в горизонтальном положении и продолжать разговор.

С первого же дня стало понятно, что мое место... в углу – в самом дальнем углу зала (сравнимого по размерам с большим танцклассом)... Дело в том, что ЕЕ, привычный к большим аудиториям, забывал о работающих камерах. Он то и дело начинал апеллировать ко мне, иногда обращаясь по имени. Тогда я, чтоб не останавливать запись, театрально отводила глаза в сторону и делала вид что «хулиганы разговаривают не со мной». Как только я переехала на галерку и операторы с камерами оказались на расстоянии от двух героев, наконец возникла необходимая интимная среда.

ЕЕ открыто пренебрежительно относился к идее любой съемки за пределами библиотечного кресла. Не столько даже потому, что сильно неважно себя чувствовал (хотя это было бесспорной причиной, но вторичной), сколько, как мне казалось, потому, что не вполне понимал «величие замысла» и не очень-то доверял. Любые попытки дополнительной съемки казались ему излишними, второстепенными. Любой дополнительный кадр сопровождался невероятными уговорами. ЕЕ почти не шел на уступки, но несколько раз с большой неохотой все же согласился.

Однажды ранним утром, изучая местную «натуру», я набрела на затянутую густым туманом набережную реки Арканзас. Два ее берега соединял старый – некогда железнодорожный, а ныне пешеходный – пустынный мост. Я поднялась на него, подо мной бушевали потоки воды, из-за тумана можно было только догадываться, что где-то там у этого моста есть выход на дру-

гой берег. Деревянный с перекрестьями мост в никуда казался бесконечным. Мост через священный Стикс! – осенило меня. Я должна была всеми правдами и неправдами снять здесь ЕЕ... «Вы же были режиссером, вы же снимали кино! Ну вы же должны меня понять как режиссер...» – настырно уговаривала я его несколько дней.

Это был тот редкий случай, когда я победила. Все выглядело как спонтанное сумасшествие – ЕЕ внезапно сказал: «Ладно, только быстро!» И мы поехали, не успев с операторами толком обсудить детали. На месте, где не слышно из-за воды klokотания собственного сердца, обсуждать уже было поздно, да ЕЕ и не ждал. Он просто пошел по мосту... Операторы не сговариваясь рванули в три разные стороны, чтоб снимать с трех точек его проход.

Условия экстремальные, никаких дублей – все понимали – не будет. Он шел, припадая на одну ногу, игнорируя мой крик и отчаянные жесты регулировщика; ветер трепал его шарф... И потом, просматривая крупный план этого прохода сотни раз, я видела, чего ему стоила уступка... стеклянный взгляд.

Когда закончили, я подхватила его под руку и усадила на первый попавшийся камень у моста. Он кривился от острой боли, а я причитала и гладила его ногу: «Родненький, потерпите». Потом помню его затяжной глоток воды из трехлитровой бутылки, обнаруженной в багажнике, – к нёбу прилипли анальгетики. Не помогало. Потом поехали домой за виски – в попытках заглушить боль (виски обычно справлялся с задачей). А потом снова ехали на нашу импровизированную студию в библиотеку писать разговор.

В перерыве – что я выясню только постфактум – ему снимут швы с раны на ноге. По возвращении с процедуры он снова выдаст четырехчасовое откровение на камеры. Перед этой съемкой осторожно помогаю ему положить ногу на мягкие подушки не дыша. «Что, муки совести?» – смотрит на меня с ехидцей и впервые с большой нежностью. Муки... (Через несколько месяцев после отъезда из Талсы я узнаю, что он перенесет операцию по ампутации правой ноги.)

В постижении морфологии ЕЕ, я обнаруживала, что он может быть очень внимательным к малозначительным деталям и совершенно небрежным в отношениях. В первый же день в Талсе я встретила его в барбершопе, чтоб обсудить нюансы работы. Но разговора не вышло. То есть совсем. Он замешкался – не оказалось десятки наличными, чтоб дать на чай парикмахеру. Я пошарила в кармане и сунула ему в руку свою. А потом он аккуратно повернулся ко мне спиной и самозабвенно завел долгую, весьма оживленную беседу с нашим водителем. Сказать, что я была обескуражена такой встречей – ничего не сказать... Следующим утром Маша открыла дверь и, прежде чем отдать вещи ЕЕ для съемок, любезно протянула десятку: «Просьба от Евгения Александровича вернуть вам».

На утро пятого дня, когда отснятый материал уже измерялся десятками часов, операторы вдруг сообщили мне, что наши флешки пусты... что они не видят на них ни одного кадра... Тревога оказалась ложной – издержки изучения на ходу новой аппаратуры. Но часа три ЕЕ терпеливо сидел в ожидании и источал спокойствие, будто понимая, что технические драмы – норма. Он мог быть разным, но ни разу не позволял себе «звездных» капризов...

По вечерам мы утрамбовывались в крошечный лифт, спускались со второго этажа на первый, выходили из университета затемно, впервые за день плотая холодный воздух, и рассаживались по машинам.

А там, на втором этаже, в углу, оставались ночевать установленные на пустые кресла камеры, выглаженные рубашки героев, кисточки с пудрой и экстравагантный гобеленовый пиджак ЕЕ.

4. Как СВ интервьюировал ЕЕ

То, что в фильме и теперь в книге кажется логически выстроенным разговором двух людей, на самом деле – изначально – представляло собой некоторый хаос, стихию. Диалог в настоящем виде был постфактум собран из множественных осколков в единое целое.

То есть, как теперь понимаю, ЕЕ было настолько плохо физически и настолько много ему было чего рассказать, что он всякий раз срывался с темы на тему, не следуя никакой логике и не придерживаясь хронологии, – то возвращался обратно к теме, то вовсе бросал начатое предложение, теряя его на полуслове. СВ в свою очередь пребывал в состоянии наивысшего сосредоточения – ему нужно было успевать за этими «американскими горками», молниеносно переключаться, вырабатывая космическую скорость реакции... ЕЕ периодически включал свои заезженные «пластиночки», ретранслируя самого себя слово в слово, но, чем дальше, тем чаще вдруг соскакивал с заученных текстов и, пожалуй, впервые начинал говорить совсем о новом, или по-новому о старом. Это была какая-то всё время меняющаяся мерцающая игра – роли в этом интервью разыгрывались нелинейно...

«Честно говорю, что я бы сейчас не дал бы такого интервью ни одному человеку в мире, кроме тебя» – следовало из предварительной переписки, в которую я, с ведома двух сторон, была посвящена. И, быть может, именно это обстоятельство – горячей готовности одного человека почтенного возраста высказаться другому – придавало разговору элемент исповеди.

Почему именно на СВ пал выбор – догадаться несложно. Собеседников такого уровня, закономерно превращающих разговор в факт культурной истории, можно пересчитать по пальцам. Да и можно ли. Конечно, репутация и бэкграунд СВ работали на него, но определяющими среди волковских бесед с гениями были диалоги с Иосифом Бродским (чего ЕЕ в переписке не скрывал).

В подобного рода встречах необходима соразмерность интеллектов и гарантированное стопроцентное понимание предмета разговора. Один из постулатов жанра: чтобы получить хороший ответ, нужно задать хороший вопрос. И безусловно, СВ предполагал некие контуры беседы. Но ЕЕ не столько нужны были вопросы, сколько чувствующий его до мельчайших нюансов слушатель. СВ следил всю жизнь за ЕЕ и знал о нем едва ли не всё. Иногда собеседники переходили на абсолютно птичий язык с упоминанием имен и событий, ведомых за давностью лет, быть может, уже лишь им двоим. СВ в таких ситуациях виртуозно в режиме нон-стоп расшифровывал, переводил в доступные сферы, пояснял только что сказанное собеседником.

СВ обладает удивительным свойством, доходящим до гениальности, – он умеет СЛУШАТЬ и фиксировать сказанное слово каким-то особенным образом. Он как бы всем своим существом погружается в собеседника и, кажется, не оставляет ему шансов не раскрыться.

СВ не раз приводил в пример мне, замечавшей высокомерно поднятую бровь коллег по цеху во время интервью, один из образцов такого слушания – звезду американской журналистики Барбару Уолтерс, которую называют «инквизитором знаменитостей». Ее секретное оружие, казалось бы, не бином Ньютона: объект напротив нее настолько ей всегда интересен (даже если он далеко не святой), что она отрекается во время разговора от собственного «я» и какой-либо предвзятости. Но именно таким образом формальная беседа превращается во вскрытие сущностей. Так работает и СВ.

То, как это выглядело технически, для меня как вполне зрелого журналиста и моего эго было весьма поучительным зрелищем, щелчком по носу. Много раз я закипала в своем углу от волнения и ярости, ну... почему же СВ отпустил ЕЕ, не дожал, не припер к стенке?! СВ слушал. Слушал, полагая, что Евтушенко сам расскажет о том, о чем захочет. Он лишь направлял беседу, но не пытался дирижировать и вести ее в рамках заготовленного сценария. У ЕЕ был

свой сценарий, который СВ позволял ему осуществить, оставляя поэту пространство. При полном отсутствии давления – почти никаких сдерживающих правил: хочется, например, спросить о вещах сугубо интимных (по мнению СВ, неотъемлемых от творчества) – спрашивал. Искусственные ханжеские запреты оставались за бортом.

С третьего дня диалогов ЕЕ начал говорить о Бродском. Нет, это совсем не было повествованием... Он несколько раз бросал куда-то в сторону обрывки фраз, как скомканные черновики, будто хотел начать большой разговор. Но не решался и резко сворачивал с этого минного поля. А потом он начал возвращаться к теме каждый день, как бы ввинчивая ее в диалог в самых неожиданных местах.

ЕЕ, блестяще владеющего собой, вдруг прорывало откуда-то изнутри. Часто невпопад. Было понятно, что он беспрестанно параллельно об этом думал, что это боль. Единственный раз за все дни включенных камер я почувствовала, как силы на выдохе покинули ЕЕ, сточился какой-то внутренний стержень – это был момент, когда он поставил точку в своем многодневном рваном рассказе про взаимоотношения с Бродским. На лице проступила опустошенность.

Только говоря о Бродском, ЕЕ вдруг соскакивал в обращении к СВ на доверительное «ты» – хотя вообще-то никакого «ты» между ними не существовало. Я это чувствовала всей кожей во время съемок, это было моей догадкой, интуицией, которая, впрочем, отдавала себе отчет я, инструмент не абсолютный... Но однажды, кажется, всё встало на свои места.

ЕЕ, будучи человеком очень гостеприимным, настаивал, чтобы всей съемочной группой мы отправились в его любимый ирландский паб (*Kilkenny's Irish Pub*), где он – завсегдатай. И одним из поздних вечеров после съемок мы пришли туда. ЕЕ знал меню наизусть, советовал, что заказать. Его слегка знобило (хотя было совсем нехолодно), ему очень хотелось в уютной компании выпить и самому. Официант поставил напротив него бокал виски. Когда суэта сошла на нет, все с аппетитом занялись заказанным, я как в рапиде увидела со всей очевидностью неловкость сцены: ресторан – битком, вибрации от звона вилок, бокалов и гула разгоряченной публики; передо мной сидят двое, погружены в себя, молчат... Чтоб избежать затянувшейся паузы, ЕЕ отворачивается от СВ и до конца вечера заводит дежурный разговор с соседом по столу.

Эти специфические повисшие паузы я уже наблюдала во время проездов в машине, как только ЕЕ и СВ оказывались закрытыми общим пространством вне телевизионных камер. За рамками съемочной площадки они выглядели чужими и чуждыми, неуместными друг другу. ЕЕ иногда казался мне интеллигентофобом, настороженно недолюбливающим «очкариков». При всей своей архисложной внутренней конструкции, он скучал по шоферюгам и выбирал в собеседники простейшего. К своему виски он тогда не притронулся, да и в его повороте спины, в общем, не было обидного, лишь какой-то конфуз.

Теперь, по прошествии лет, если природа этого глобального отсутствия «ты» между ними мне и не кажется яснее, то мне понятно, почему (помимо прочего) поэт ЕЕ выбрал в конфиденты именно достаточно далекого себе СВ. Дистанция! К слову, эту дистанцию, равноудаленность от всех своих великих *vis-à-vis*, СВ соблюдал всегда, не принадлежа и не приближаясь ни к одному из существующих сообществ; он – волк-одиночка, ни с кем никогда не стоявший на короткой ноге. Быть может, именно она, дистанция, и позволяла ЕЕ и СВ разговаривать на иных уровнях.

5. Что такое город Талса: особенности университетской жизни

Так получилось, что в Талсу я прилетала несколько раз задолго до съемок фильма (о котором тогда никто из участников и не помышлял), разговаривала с ЕЕ на камеру – снимала о нем репортажи. Он всегда радушно распахивал двери своего дома, угощал вином (в котором понимал), охотно отвечал на все вопросы. И мне всегда хотелось заглянуть в ту американскую часть его жизни, о которой почти никто ничего не знает. Но всякий раз на мою просьбу навесить его рабочий университетский кабинет профессор Евтушенко недовольно шипел что-то невнятное и уклончивое, отвечал отказом. Для меня это была абсолютная загадка. «Тайное» открылось мне только после смерти ЕЕ.

Университетский коридор, деревянная дверь с обыкновенной казенной табличкой на ней «*Yevgeny Yevtushenko*». Кабинет – это крошечная комната. За двадцать пять лет преподавания совершенно необжитая и почти ничего не говорящая о своем хозяине. Вопреки ожиданиям – никакого классического беспорядка. Пустой стол. Два кресла. Окно, закрытое ветвями деревьев. На полупустых длинных полках – несколько десятков книг и подборка журнала «Новый мир». На стене – маленькая доска. К ней канцелярскими кнопками прищиплена трогательная записка – детскими печатными прыгающими буквами: «Дорогой папа, я тебя люблю. Женя. Мне нравится в школе». Рядом – детский же рисунок с солнцем и фото ЕЕ в обнимку с ближайшим американским другом Альбертом Тоддом. Безжизненная пустота кабинета, граничащая – после ухода ЕЕ – с сиротливостью.

Всё оказалось просто! И об этом, зная хоть немного ЕЕ, можно было бы догадаться: он просто был некабинетным человеком («*He was not an office person!*» – «Он был неофисным человеком» – кивали головами его коллеги). Конечно... Он почти не бывал тут, предпочитая трем метрам профессорской каморки большую аудиторию.

Евтушенко пригласили в Талсу на излете перестройки, в 1991-м. Он приехал посмотреть. Думал, на один семестр... Остался на четверть века. Этот частный университет по американским меркам довольно старый (чуть больше ста лет). Внешне не вызывает восторженной задержки дыхания, как это бывает, когда гуляешь по Йелю или Принстону. Уютный и непафосный. Он – город в городе; в отличие от кажущейся безжизненной Талсы, кампус напоминает муравейник: снующие толпы студентов, броуновское движение велосипедов...

У ЕЕ был карт-бланш – любой предмет, любая тема, любое расписание. Им дорожили и гордились. «У нас есть мировой поэт», – говорили мне в деканате. Гордились тем, что он был больше похож на рок-звезду, чем на какого-то тихого поэта-очкарика на кафедре. И несмотря на то, что коллеги называли его Женя (по имени, как обычно это принято в Америке), они отлично понимали, с кем имеют дело (вопреки растиражированным на родине поэта слухам, что там – на чужбине, в той глуши – никому он не был нужен).

Евтушенко был настолько знаменит в Америке в шестидесятые годы, что его портрет попал на обложку журнала «*Time*». А много ли в университетах есть преподавателей, которые были номинированы на Нобелевскую премию (1963)? В общем, эта слава грела его до самого конца.

В университете ЕЕ пропадал всего раз в неделю, по понедельникам. С двух до пяти – лекция по истории европейского кино, с шести до девяти – курс русской литературы. Ему действительно отвели там самую большую аудиторию: послушать *Yevtushenko* выстраивались очереди, на его лекции стремилось попасть вдвое больше студентов, чем было мест в зале. На кафедре даже ввели «лист ожидания». Очень чистенькая «умытая» аудитория заполнялась под завязку – всегда около 60 студентов, абсолютно разношерстных. Они – выходцы со всего мира

с разными культурами и языками в бэкграунде (помимо США – Южная Америка, Ближний Восток, Азия), будущие технари, менеджеры, киношники etc.

Свои «политехнические» концерты ЕЕ выдавал тут. Во время лекций он не просто читал стихи – это был перформанс каждый понедельник с выходом в мир (учитывая многонациональность аудитории). Один из студентов вспоминал его всегда «одетым в серебряные костюмы, декламирующим стихи на грохочущем русском языке и шагающим под этот ритм по лекционному залу». Тяжелый русский акцент в случае ЕЕ никому не был помехой.

Я могу хорошо представить, как выглядела эта «академическая программа», – я видела уникальные выразительные снимки Марианны Волковой, которые она однажды сделала во время выступления ЕЕ перед студентами нью-йоркского Куинс-колледжа. Балетная пластика, драматический размах – такого лектора не забудешь...

Если вдуматься: что такое преподавать двадцать пять лет? Это означает, что через класс ЕЕ прошли тысячи американских и неамериканских студентов, в чью жизнь круто вошел русский профессор. Он выпустил в жизнь тысячи иностранных людей, на которых значительным образом повлияли русские писатели и поэты...

Двадцать пять лет по понедельникам он делал то, что потом многие из его выпускников назовут на персональном уровне «*life-altering*»¹: «особенный профессор», «человек редкой породы, которого будешь помнить всегда». Они, похоже, действительно очень любили этого харизматика и эксцентрика. По-настоящему. А он сам ужасно (я свидетель) переживал, если ставил плохие отметки (что, видимо, было экстремально редко). Когда ЕЕ умер, университетскую страницу в Фейсбуке захлестнула лавина искренних слов сожаления.

Но слава ЕЕ в Талсе была особого рода. Эдакое кривое зеркало его жизни в России: если американские коллеги кланялись ему при встрече, то далекие от мировой поэзии простые смертные могли понятия о нем не иметь. (Это в России – поэт больше, чем поэт. В Америке, да и, похоже, почти во всех странах мира, поэтов на улице не узнают.)

Один из съемочных дней нашего фильма совпал с каким-то очень важным университетским футбольным матчем. Все въезды и подходы к альма-матер обещали быть перекрытыми. И когда ЕЕ обратился к вахтерше университета с просьбой заранее на завтра взять ключи от нашего библиотечного зала, та одарила его нетипичным для американцев сканирующим взглядом снизу-вверх и неробко спросила: «А вы кто и что вам тут, собственно, надо?» – «Я профессор Евтушенко...» Фамилия профессора не вызвала никакой радости узнавания, и она попросила покинуть помещение. Взъерошенному (но все еще вежливому) ЕЕ пришлось связываться с руководством университета.

Здесь у него была та степень свободы, которой не было бы во многих больших городах. Его коллеги говорят, что в Талсе ЕЕ не привлекал к себе внимания и мог быть самым собой – в магазине ли, в ресторане, да где угодно.

Он называл Талсу пуповиной американской культуры и верил, что это место, где можно разглядеть настоящую Америку. Думаю, он не лукавил, когда еще в девяностых в местной прессе не раз восхищался тем, что его студенты не высоколобые циники, а сыновья ранчо, ковбой или нефтяники. Он уверял, что они не менее талантливы, но главное – более чувствительны и близки к Матери Природе, чем дети больших городов. В этом, разумеется, много личного. Провинциальная Талса и ее люди напоминали Евтушенко о его с рождения родимом пятне – его Сибири.

ЕЕ говорил мне, что скучает по деревне, что всегда, приезжая в Россию, стремится обязательно съездить куда-нибудь «вглубь». Уже потом, после всех наших встреч, снимая дополнительные сцены для нашего фильма, я побывала на станции Зима, откуда он родом... Я кое-

¹ *Life-altering* – изменяющий жизни (англ.).

что поняла. Он хоть и совсем не тяготился сложившейся судьбой (еще бы!), но, похоже, стремился к какой-то другой свободе всю свою жизнь. Стремился в свое детство.

Там, в Зиме, отголоски этого детства ЕЕ до сих пор живы. Я видела, как огромный старший прапорщик с романтическим надрывом пел под минусовку песню «Зима, зима» детям с бантами; там на второй день пребывания ты изнасилован гостеприимством – все зовут к себе ночевать и кормят до изнеможения (при зарплатах четыре тысячи рублей); там легко растрогать; там чиновник от культуры при первой встрече на протянутую руку отвечает объятием; там «на дорогу» принято совершать особые ритуалы – бабы отводят отъезжающего в сторону, страстно крестят и на ухо шепчут молитву; там любое окончание дела знаменуется выпивкой; там в домах топят так, что возникает кислородная недостаточность, а при -20 °С – безжалостные сортиры на улицах с дырой в полу...

Конечно, в Талсе признаки американской бытовой цивилизации никто не отменял, но люди – в смысле своей простоты, открытости и тепла – такие же провинциалы.

ЕЕ очень болезненно переживал, когда в России, часто не отвечавшей ему взаимностью, его обвиняли в отъезде за рубеж. «В России я живу, в Америке – работаю», – отвечал он всегда заготовленной формулой. Но в этом ответе, мне кажется, была неправда. Он действительно не покидал Россию и жил на две страны. При этом Талса – о чем он не очень любил говорить, чтобы, видимо, избежать недопонимания – тоже стала его домом...

Тут ЕЕ тоже пустил корни. Он любил Талсу за пусть и отдаленное, но родство с тем, что ему дорого, за схожую группу крови: «В ста верстах от столицы всех надежд... там всему на свете свой особый счет...»

6. Post Scriptum

В моих руках оказалось сокровище трудной судьбы. Пятьдесят часов разговоров СВ и ЕЕ обрастали съемками на двух континентах; в мегаполисах и глухих, забытых богом деревнях; в снегу по пояс и в сорокаградусную жару. Дополнением к этому триллеру служила охота по всему миру на документы, кинохронику и фотографии – уникальные находки случались и в огромных институциональных архивах, и в пыльных сервантах частных коллекционеров.

С СВ, который приложил немало усилий к созданию фильма, мы преодолели разрыв и теперь очень не любим вспоминать эту весьма болезненную для обоих историю. В общем, если не вдаваться в детали процесса – ведь важен лишь результат, – получилось трехсерийное кино под названием «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». (В него вошла в лучшем случае треть диалога, тогда как настоящая книга представляет полное его содержание.)

Потом была премьера. Фильм не прошел незамеченным, ударив в какую-то болевую точку. Ожесточенные споры о нем неделями сотрясали Интернет. Предмета для статей (преимущественно разгромных) хватило на полгода. Девяносто девять процентов публикаций составляла нешуточная критика. Шквал критики... Волков? Ничего святого! Евтушенко? КГБ! Агент! Чушь! Враки! Никчемный сценарий! Девочка (то есть я) не справилась с материалом! Море ошибок! Не может быть, чтоб поэт ничего не сказал о Путине! Цензура! Заказ сверху! Как смели? Как осквернили! Неумное кино...

Развернулся немыслимый ад. Триумф с отрицательным знаком. Любое публичное обсуждение превращалось в балаган. Острота достигла такой силы, что в какой-то момент в приличной компании было неприлично затрагивать эту тему, как в хорошем обществе не принято говорить о политике. На фоне такого «задымления» лишь один журналист (Инна Ткаченко и «Искусство кино», спасибо!) связался со мной, чтобы «с ланцетом и пинцетом» узнать детали, понять соотношение сил и вдумчиво всё расставить на свои места.

От всего этого было нестерпимо душно. Внутри возникали сложные химические реакции. Поэтому попытка овладеть искусством молчания казалась мне единственной формой спасения. Много дней я не подходила к телефону, потом обнаружила в нем автоответчик с голосом ЕЕ, запись была оставлена сразу после премьеры.

Поэт звучал растерян... Говорил спасибо, что, в общем, потрясен... говорил, что пока не понимает, как это все пережить... что получился неожиданный для него самого градус откровения, на который он даже не рассчитывал... не понимал, что это может быть большим кино огромной силы и оно застало его врасплох... что надо посмотреть, как будут теперь развиваться события... что ему позвонил Эрнст Неизвестный со словами восхищения, говорил, что плакал, хвалил его за смелость. У меня, помню, перехватило как-то в горле.

К тому моменту ЕЕ был мне уже не посторонний. Конечно, я прожила с фильмом тяжелый год и имею право на сентимент. Но дело не в том. За тот год я вдруг освободилась от плена стереотипов своего поколения – снобистского вируса скепсиса относительно Евтушенко... При такой точке обзора он был по-настоящему большим, чрезвычайно интересным в своей неоднозначности; его совершенно не обязательно было судить или крепко прижимать к сердцу, чтоб обнаружить у него множество прекрасных стихов, которые перестали знать etc...

На моих внутренних картах изменились масштабы. Стокгольмский синдром? Нет. Дзэн нового уровня с пониманием собственного «бедного невежества былого»...

Оказалось, что через два, три, четыре года про фильм не забыли, его продолжают цитировать. В воздухе что-то ощутимо менялось. И отношение к фильму со временем стало дрейфовать в диаметрально противоположную, позитивную сторону. ЕЕ – больше не нафталино-

вый персонаж из прошлого. Его смерть – как это часто случается в России – сотворила еще большую метаморфозу: он снова стал великим национальным поэтом.

Все эти годы за мной оставался долг. Еще в 2012-м я пообещала СВ, что из записанного материала мы с ним сделаем книгу. Но сначала за нее было больно браться, потом внутренний ресурс был исчерпан... Теперь, когда наконец дело сделано, вместо привкуса горечи есть понимание причастности к большому и нет ничего, кроме благодарности СВ и ЕЕ за мудрость и опыт.

«Что вас всегда утешает?» – «Понимание единственности жизни, Аня». Запомнила этот вздох ЕЕ. И еще запомнила, каким будничным был последний момент... После финальной съемки я помогла поэту зачехлить экзотический пиджак, упаковать реквизит – книжки, разложенные на столе, собрать его маленькую тряпичную сумочку, с содержимым которой я была хорошо знакома: пластмассовая тонкая расческа, капли в уши, перевязочные материалы... Он всё это небрежно сгреб, перевесил сумку через плечо, как-то спешно попрощался – торопился на лекцию, был его понедельник – и вышел, опираясь на трость, за дверь. «Пока!»

И вот по мере удаления ЕЕ от меня во времени глубина резкости того кадра, оставшегося лишь в памяти, всё возрастает... убеждая в одном: жизнь – все-таки удивительное собрание заблуждений.

Соломон Волков Диалоги с Евгением Евтушенко

Пролог. Встреча

Волков: Евгений Александрович, вы знаете, сколько у меня книг с вашими автографами? Больше двадцати. Вы когда-то за один присест их все надписали жене моей Марианне, когда она вас фотографировала. Она мне рассказывала, что вы ставили разные даты и приговаривали: мы запутаем КГБ.

Евтушенко: «Волковым от Ягнешёнка!»

Волков: От Ягнешенко.

Евтушенко: От Ягнешенко?! Как хорошо придумал, смотрите!

Волков: Это потому, что вы тут такой на фотографии... умильный.

Евтушенко: Ничего себе умильный! Хитрован просто. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...» Замечательно, а?

Волков: Я к разговору нашему сегодняшнему готовился лет тридцать, не меньше. Потому что вы для меня с юных лет, как для очень-очень многих, были символом. Мы ловили каждое ваше слово, каждое новое стихотворение. Эти стихи и на мое поколение, и на людей старших, и на людей, которые за нами пришли, оказали невероятное влияние. Одно из моих любимых стихотворений – «Не надо». Я до сих пор не понимаю, как его не положили на музыку. Великий жестокий романс, правда? Я, когда читаю, всегда его под какую-то внутреннюю музыку проговариваю, в виде какой-то такой мелодекламации.

Евтушенко: Действительно странно. Может быть, потому, что оно написано очень длинной строкой...

Волков: А там есть синкопирующий джазовый ритм, который очень хорошо бы лег на квазиджазовую мелодию. И потом, конечно, стихи, которые вся страна повторяет, – «Бабий Яр», «Наследники Сталина». Наше мировоззрение воспитывалось на ваших стихах. Но для меня в первую очередь важно, что ваши стихи формировали поведенческую модель. То есть мы учились не только каким-то гражданским позициям, отнюдь. По вашим стихам мы учились, как любить, как разговаривать с любимыми, с женщинами. И поэтому мне – и, думаю, не только мне – было бы страшно интересно, вместе с вами пройти по эпохе, свидетелем которой вы были и которая так отразилась в ваших произведениях.

Евтушенко: Давайте попробуем, попробуем...

Вы знаете, что вспоминается сейчас сразу, раз вы заговорили об этом? История, которую, по-моему, я никому не рассказывал. Никогда, во всяком случае, не записал. У меня было стихотворение, не из самых ранних, не детских, конечно, потому что были пре-самые ранние, я бы сказал. Вот это стихотворение:

«Видишь,
небо какое синее?
Слышишь,
птицы какие в лесу?
Ну так что же ты?
Ну?
Неси меня!»

А куда я тебя понесу?...²

Это было одно из моих первых любовных увлечений. Но тогда молодому человеку оказаться наедине с девушкой было очень трудно, мы же жили почти все в коммунальных квартирах. И вот прошло много лет уже, я выступал в Японии, в Киото, с молодыми поэтами. И они сказали мне: «Вы знаете, мы хотим вам почитать ваши стихи по-японски». Вы угадаете какие или нет?

Волков: Ничего себе шарада...

Евтушенко: Представьте себе, я угадал одно из стихотворений. Вот как раз это. Я понял, что по интонации может быть только оно: «„Ну так что же ты? / Ну? / Неси меня!“ / А куда я тебя понесу?...» Я говорю: «А почему?» – «А это стихотворение очень нравится молодым ребятам, особенно семнадцати-восемнадцатилетним. Потому что, вы знаете, – говорит, – у нас очень большая квартирная проблема». Поразительно, да?

Волков: Вот как всё аукается и через времена, и через континенты.

² Стихотворения в книге в большинстве случаев сохранены в том виде, как читал их по памяти Е. Евтушенко в фильме. (Здесь и далее примеч. ред.)

Ранний Евтушенко

Так как же вас зовут? Где и когда вы родились?

Волков: Мы открываем вашу официальную биографию, и там в первой строчке заявлены три вещи: поэт Евтушенко родился на станции Зима в 1933 году. Но мы-то с вами понимаем, что, во-первых, вы не родились с фамилией Евтушенко. Во-вторых, родились не на станции Зима, а в Нижнеудинске и настоящая дата вашего рождения на год раньше. До сих пор, между прочим, не все об этом знают.

Евтушенко: Ну, давайте разберемся. Первое – рождение.

Станция Зима – это то место, куда отправили на поселение когда-то моих предков в конце XIX века. Мой предок – Иосиф Байковский. Он был польским обедневшим шляхтичем, человеком весьма прогрессивных, демократических и даже революционных взглядов. Вроде бы крепостное право было уже отменено, но оно в каких-то формах сохранялось. Иосиф Байковский работал управляющим имения. Помещик в том имении был ужасный совершенно, он жестоко поступал с крестьянами, даже использовал право первой ночи. Байковский выкупил у него крестьянку украинскую, женился на ней. Потом помещик продолжал преследовать крестьянок, была история с сестрой жены Байковского и другими девушками. И мой предок возглавил восстание крестьян.

Волков: Необычная ситуация.

Евтушенко: Они пустили красного петуха подожгли помещичий дом. И после этого деревню эту просто стерли с лица земли.

Волков: Прислали карателей?

Евтушенко: Да. И не просто стерли с лица земли – даже из ведомостей деревня исчезла, чтоб памяти о ней не осталось. Я даже не знаю, как она называлась, знаю лишь, что это было на Житомирщине. И отправили всех в Сибирь. Примерно тысяч за восемь километров. Только стариков и детей сажали на телеги, а все остальные шли пешком и в кандалах. Моему, кстати, прапрапрадеду не собирались надевать кандалы – он все-таки был дворянином. Ну, так... решили сделать поблажку. А он потребовал, чтоб надели. Потому что хотел наравне с другими страдать.

Волков: Сцена из Достоевского, да?

Евтушенко: Да. На поселение Зимаони и были сосланы. Там много и поляков, и разных других сосланных. Между прочим, была у нас и синагога небольшая, и костел был, и кладбище. Даже, в общем, какие-то сословные были перегородки.

Вообще название Зима происходит от бурятского слова «зэмэ». Слово это означает, если перевести, «вина».

Волков: «Вина» как чувство вины?

Евтушенко: Да, вины как виноватости. Потому что жили там виноватые, осужденные. Если точно говорить, то это станция Вина. Они были виноватые без вины.

Волков: Поскольку сосланные, да...

Евтушенко: Так что название происходит не от слова «зима», это уже просто переделали, как понятнее...

Волков: Получилось красиво.

Евтушенко: Получилось очень красиво. И первый, кто написал стихи о станции Зима, говорят, был Дмитрий Кедрин – замечательный поэт, которого я знал наизусть.

Волков: Вы его не встречали, Кедрина?

Евтушенко: Ну как я его мог встретить, когда он был выброшен из электрички в сталинское время после того, как его вызвали на допрос³.

Говорят, что где-то есть в Сибири
Маленькая станция Зима.
Там сугробы метра в три-четыре,
Там не затихает тишина...

Чудные строчки, не правда ли?

Еще Иван Шмелев написал очень интересную историю – там же в Гражданскую войну было страшное кровопролитие. Потому что через станцию Зима – через деповский такой центр – проходили все разные эшелоны: красные, белые...

Мой папа построил там дом, который сохранился, в общем-то. Когда пришла пора меня рожать, на станции Зима закрыли родильную. А в Нижнеудинске был хороший родильный дом, совсем рядом с железнодорожной станцией, прямо напротив. Там я и родился. Пока мама была в родильне, папа мой играл в карты с начальником станции – бывшим колчаковским офицером. Тот проигрывал деньги, и деньги эти были у него не свои. Папа мой сказал тогда: «Давайте так: скажите мне просто, сколько тут казенных денег, и я вам их верну». Тот говорит: «Я – офицер, это против офицерской чести». И в это время закричала, как мне папа рассказывал, прибежавшая сиделка: «Александр Рудович! Александр Рудович! У вас сын родился!» Ну, папа предложил начальнику станции еще раз вернуть деньги, тот опять отказался. И папа тогда сгреб эти деньги в рюкзак и стал переходить улицу. И в этот момент – это было шесть часов утра – раздался деповский гудок и выстрел сзади.

Волков: Это начальник станции покончил с собой?

Евтушенко: Да. Так вот я и родился. Папа рассказал мне эту историю, когда узнал, что я играю в карты. Я потом описал ее в одном рассказе⁴. А папа тогда сказал: «Пожалуйста, никогда не играй на деньги». И очень правильный дал совет. Он сказал: «Понимаешь, мне зверски везло в карты, и, может быть, это тебе передастся». Мне действительно тоже везло в карты. У меня была невероятная интуиция, когда я играл в «очко». Я чувствовал карту, не знаю почему. Вот просто чувствовал карту, и всё! И папа мне сказал: «Если ты будешь играть с порядочными людьми, с друзьями, ты потеряешь этих друзей навсегда. А если будешь играть с подонками, то таким же станешь». Правильно?

Волков: Правильно. У меня тоже была такая ситуация. И близкий друг запретил мне играть.

Евтушенко: Я исполнил отцовский совет, никогда на деньги не играл. И даже когда бывал в казино, так, из любопытства, поставил один раз.

Волков: А вы могли бы стать профессиональным игроком с такими данными, с этой интуицией.

Евтушенко: Нет, это был запрет, для меня слова отца были законом. Как он мне точно всё сформулировал!

Вот, и потом... родился я там. Но меня зарегистрировали...

Волков: В Нижнеудинске?

Евтушенко: Нет, меня зарегистрировали на станции Зима! Ведь там был дом наш родовой! В Нижнеудинск меня просто взяли, чтоб мама родила. И всё.

Волков: Значит, родились на станции Зима?

³ В истории гибели поэта Д. Кедрина (1907–1945) до сих пор остается много вопросов.

⁴ «Почему я не играю в карты. Рассказ по рассказу моего отца».

Евтушенко: Ну, конечно! Это рядом совсем! И меня сразу отвезли на станцию Зима, там я и воспитывался. И когда маме не хватало молока, то даже бурятка была – кормилица со станции Зима, давала одно время молоко свое.

Волков: Теперь понятно. Нижнеудинск мы снимаем тогда из списка вопросов. Теперь насчет фамилии. Ваша фамилия, с которой вы родились, не Евтушенко, а Гангнус. Откуда эта фамилия?

Евтушенко: Сейчас и в этом разберемся. Ничего таинственного в этом нет. Такое происходило со многими людьми того времени.

Фамилия эта от моего дедушки Рудольфа Вильгельмовича Гангнуса, отца моего отца. Он был, как мне говорили, латышом. И я думал долгое время, что он был латышом! Но фамилия-то у меня все-таки странная была! И что произошло во время войны? У нас была учительница физкультуры, как я ее описал в своей поэме «Мама и нейтронная бомба», похожая на переодетую женщину-хряка. Альбиноска, очень такая мускулистая вся. Она вызвала Колю Корякина, моего кореша самого большого на станции Зима, и сказала ему: «Вот сейчас твой отец воюет... Может быть, его убивают в этот момент такие же гансы гнусавые – то есть гангнусы, – она так мою фамилию переименовала. Это же фриц! Тайный фриц!» И Коля мне, конечно, рассказал об этом. Бабушка моя Мария Иосифовна взяла тогда скалку и пошла к учительнице. Та сидела под портретом не то Маркса, не то Энгельса. И бабушка сказала: «Вот Маркс или Энгельс – они что, узбеки, что ли, были? Как ты вообще можешь такие вещи говорить?» Ну, та и притихла.

Волков: А когда же вы решили, что надо менять фамилию?

Евтушенко: Не я решил, бабушка решила⁵! Она сказала: «Тебя там могут затравить! Еще мало ли какие люди тебе попадутся в жизни!» И поменяла мне фамилию на Евтушенко. На материнскую.

Волков: А вы помните вообще эту ситуацию? Вы откликались ведь на Гангнуса? Как к вам обращались?

Евтушенко: Да не знаю, меня Женькой звали, да и всё!

Волков: А с вами это как-то обсуждалось? Советовались?

Евтушенко: Нет. Она же сказала мне, что недобрые люди будут попрекать... Она сказала: «Ты же латыш! Но не объяснишь всем...» Мне в голову не приходило, что у меня может быть немецкая кровь. Но самое поразительное, что эта училка как в воду глядела. Потому что потом я всё потихонечку узнал. Мне никто не говорил про немецкое происхождение нашей семьи.

Волков: Вот теперь ясно и с этим. А дата рождения? 1932 или 1933 год?

Евтушенко: А, тут просто получилось. В 1944 году мама уезжала на фронт и хотела оставить меня в Москве, уже Москва не была под угрозой бомбежек. Но туда пускали по пропускам, был какой-то статус возрастной. И я уже должен был запрашивать специальное разрешение, а его было не так легко получить. И бабушка просто поменяла мне год рождения. Подумаешь, ну чего это стоило?! Станция Зима – крошка, сколько там, пятнадцать-двадцать тысяч жителей было? Хотя, между прочим, станция Зима – что делает ей честь – приняла больше эвакуированных, чем населения. И подняли всех. И особенно ленинградцев, которые приезжали совершенно оголодавшие. У нас, слава богу, все-таки такого голода не было.

Волков: То есть бабушка из Гангнуса сделала Евтушенко и омоложила вас на год.

Евтушенко: И это было мудрое решение. Потому что быть русским поэтом с фамилией Гангнус было бы значительно труднее. Я это понимаю.

⁵ Е.А. Евтушенко родился в 1932 г., в 1933 переехал с родителями в Москву. В 1941 г. Женя вернулся на станцию Зима в эвакуацию, а его мать, ставшая певицей, отправилась на фронт с концертами. В 1944 г. бабушка Мария Байковская изменила внуку фамилию с отцовской Гангнус на материнскую Евтушенко, а также изменила год рождения на 1933-й для упрощения въезда обратно в Москву.

Волков: И со станцией Зима получилось тоже. Гораздо поэтичнее и возвышеннее название «станция Зима», чем «Нижеудинск», который еще и на слух звучит – «Иудинск».

Евтушенко: Ну да, бабушка как-то всё подкрасивила. Беда наша, что у нас люди до сих пор, бывает, реагируют как-то... недостойно на не совсем русские фамилии. Это болезнь просто, я бы сказал...

Дедушки и их дружба

Волков: Евгений Саныч, меня очень интересует первый московский период вашей жизни до того времени, как вы эвакуировались на станцию Зима – туда, где вы родились. Потому что вы об этом времени как-то не очень охотно, как мне кажется, вспоминаете. Меня это удивляет – почему? Какие ваши самые первые вообще воспоминания? Когда вы стали осознавать мир, в каком возрасте?

Евтушенко: У меня память начинается с моих дедушек. Я помнил обоих дедушек, которых арестовали⁶. Они, кстати, дружили.

Итак, отец моего отца Рудольф Вильгельмович Гангнус был латышом. Это так я знал! Потому что он приехал из Латвии. Его арестовали в тридцать восьмом году. За шпионаж в пользу Латвии. Тетя моя Ира в конце концов мне первая потихоньку рассказала, что, оказывается, ветвь моя со стороны дедушки Рудольфа Вильгельмовича немецкая. Гангнус – редкая фамилия, между прочим. Очень редкая! Вот сейчас, насколько мне известно, одна ветвь Гангнусов все-таки осталась в Риге, и еще есть в Австрии. Так вот в Германии была эпидемия холеры, и умер мой прадед Гангнус. Его жена с восемью детьми решила переселиться в Латвию, это была часть Российской империи.

Волков: Из Австрии в Латвию?

Евтушенко: Из Австрии в Латвию. Они построили себе там деревню. Стали стеклодувами – у меня есть дома реликвия нашей фамилии, их произведение потрясающее.

Волков: Шар?

Евтушенко: Шар, да. Все любят, сейчас он в музее стоит в моем, который открыт в Переделкине. Потом сыновья стали жениться на латышках в основном, на шведках... Вот таким образом дедушка мой оказался в Латвии. У него был латышский паспорт, поэтому он и считался латышом.

Второй мой дедушка был Ермолай Наумович Евтушенко. Он, правда, был в разводе с бабушкой, маминой мамой, но он приезжал к нам – навещал дочку. Меня очень любил. И дружил с другим моим дедушкой – Рудольфом Вильгельмовичем. Ермолай Наумович был чапаевского склада человек: он был деревенский, из белорусского села – дед даже не помнил его названия. Мама не помнила тоже, а как она могла помнить – она не была там никогда. Это я потом нашел это село, и она вспомнила чудом название – Хомичи. Сейчас это Калининковский район Гомельской области. И я туда полетел, это тоже было совершенное открытие.

Я въехал в деревню, где все двери были не на замке – и никого не было в домах! Какой-то старик подошел, я его спрашиваю: «А где все люди?» – «Так а уси на поле!» Все картошку копали. И я увидел – это тоже чудо какое-то, – как ползающие, еще не умеющие ходить младенцы уже ползали с пользой: они выкапывали картошку. Выкапывали! А старушки за ними наблюдали – там в основном жили уже только старики, молодежь вся оттягивалась в города. И меня как что-то толкнуло, я спросил: «Из рода Евтушенко кто есть?» А у деда Ермолая две сестры было. Старик говорит: «А вот Ганна и Йова такие есть». И я подошел к одной из старух. Почему я подошел именно к ней, можно это объяснить? Нет! Там было много старух. Я подо-

⁶ Ермолай Наумович Евтушенко и Рудольф Вильгельмович Гангнус были арестованы в начале 1938 года. Ермолай Наумович расстрелян в августе, а Рудольф Вильгельмович приговорен к пяти годам лагерей, а затем выслан на пять лет в Муром. Вернулся домой в 1948 г. и через год умер.

шел к ней и спросил: «Скажите, а где здесь мне найти Ганну или Йову?» – «Ну я буду Ганна, – сказала она, вытирая руки. – А ты кто?» – «А я ваш внук Женя», – я сказал. И тогда она: «А ты ж с голоду не змер во время войны?» Я говорю: «Нет, вот я перед вами». И она закричала на все поле: «Хосподи! Кровиночка наша знайшлася!» И отовсюду поползли вот эти детишки, вот эти младенцы, старухи какие-то...

В деревне этой многие были Евтушенки. Ганна была партизанской связной. Про своего брата она знала только, что его увезли как врага народа. У него было два ромба – комбриг. Ермолай Наумыч был героем Первой мировой войны: дважды или трижды георгиевский кавалер, был в немецком плену, бежал. И потом присоединился к большевикам, которые обещали землю крестьянам, поэтому он поддерживал их.

И при этом два моих деда – дружили! Хотя что странного? Многие люди, не соответствующие друг другу по образованию, могут дружить.

И их арестовали одновременно. Одновременно! Вот вы меня спрашиваете о моем самом большом впечатлении детском – так это разговоры моих дедушек. Но я, разумеется, тогда не понимал просто, о чем они говорили. Сейчас я бы дорого дал, чтобы это узнать. Потому что я помню их именно с тридцать шестого – тридцать седьмого года. Представляете, о чем они говорили?!

У нас была комната в коммуналке, они съезжались обычно в воскресенье – тогда нерабочий день был только воскресенье, – встречались у нас, на 4-й Мещанской⁷, хотя у них были отдельные квартиры. Дедушка Ермолай привозил четвертинку водки, пил сам, потому что дедушка Рудольф Вильгельмович не пил водки никогда, потом плясал обязательно или пел какую-нибудь песню, а потом его укладывали баиньки и за ним приходила «эмка». Утром. И увозила. И вот однажды за ним пришла «эмка» но уже с сопровождением, и его арестовали.

Волков: Прямо от вас? От вас его арестовали?

Евтушенко: Да-да, прямо от меня. А другого дедушку тоже арестовали...

Волков: И тоже?

Евтушенко: Да, его тоже от нас арестовали. Он тоже у нас ночевал обычно.

Няня Нюра

Евтушенко: Есть прекрасное выражение – неявленные святые. Выражение народное. Это не блаженные, это действительно неявленные святые. Они не могут поступить плохо, не могут поступить жестоко, не могут предать. Они не делают себе сами запретов, это в них заложено уже просто.

Я никогда не забуду мою няню Нюру, которая меня воспитывала, которая меня так любила – и все-таки уехала. Уехала, зная, что я отправляюсь в эвакуацию, в безопасное место, а у нее сестра больна. Поехала в Тулу, к себе. И вы знаете, что она сделала? Когда я вернулся, я ездил к ней – она жила в Тепло-Огаревском районе, это недалеко от Ясной Поляны. У них церковь была превращена в овощехранилище, как во многих местах. Няня Нюра спасла все иконы из церкви и устроила у себя дома молельную, куда люди могли приходиться молиться. И, насколько она знала, что-то даже вроде свадеб там проводила. Ее могли посадить за это! А потом эти иконы вернулись все в церковь. И все теперь говорят: «Это Нюрин храм» – про эту церковь, которая осталась навсегда. Вот это моя няня. Она была такой всегда. Она как бы в ранге святой осталась.

Вот вы спрашивали у меня про Москву предвоенную. В тридцать седьмом, тридцать шестом в городе появились толпы девочек. Это когда семьи раскулачивали, просто хороших хозяев, то они, раскулаченные, своих младшеньких отправляли в Москву. Ну чтоб хоть кто-то

⁷ Сейчас – Мещанская улица.

бы спасся. Потому что девочек с удовольствием брали в семьи. Вот так Нюра попала к нам. Прямо босая пришла.

Для меня она была одной из самых важных воспитательниц – у нее было абсолютное чутье на плохое. Она не читала никаких книг, но у нее было откуда-то невероятное чувство правды, совестливости. Не способна она была совершить какой-то плохой поступок. И такие люди правды попадались очень часто мне в жизни.

Волков: Повезло вам.

Ложный развод родителей

Евтушенко: Вокруг было очень много разводов. Это я помню, разводились все время. Я, правда, не чувствовал развода своих родителей как какую-то трагедию, потому что папа ко мне приходил, стихи мои смотрел, говорил и поправлял что-то. Но я написал, например, такой стишок про разводы:

Был бы я моей женой,
Не развелся бы со мной.

Это папе моему дико понравилось. Он всем читал на работе. «Мне никто не верит, что это ты написал», говорил.

В 1944 году мама моя выступала на фронте. Она же была актрисой театра Станиславского и Немировича-Данченко. Она не была знаменитой певицей, но голос у нее хороший был. Ну, и это мама моя была. У моей мамы не может быть плохого голоса!

Волков: Не может быть плохого голоса у мамы, это правильно.

Евтушенко: Я любил, как она поет. Она пела все военные песни. Выступала с концертными бригадами. Она уже в 1941 году – пока мы еще были в Москве, я же эвакуировался позже – выступала вместе с Симоновым, Маргаритой Алигер, с Фадеевым в одной концертной бригаде – иногда и под дождем. Уж если бы она совсем плохо пела, не взяли бы ее в такую бригаду. Мама молодая была, очень красивая. А то, что они развелись с папой, – это неправда. В некоторых моих биографиях появляется, что они развелись в связи с арестами родственников. Но никакого политического значения не было.

Волков: Кто кого бросил?

Евтушенко: Да никто никого не бросил! Папа и разводиться-то не хотел. Самое поразительное, что, как я узнал много позже, он и не развелся с мамой. Это узнала Маша, моя жена, мама перед смертью ей рассказала. «Если б, – говорит, – я была бы плохой женщиной, я бы, конечно, Сашку упечь могла как многоженца. Но мне его жалко было, все-таки он был хороший мужик».

Знаете, ничего там серьезного у него не было, папа не хотел ее бросать, он очень любил меня. Однажды он ехал в командировку в Ленинград, купил одной женщине чулки – только появились чулки особые. Это было шиком – шелковые чулки. И тогда дарили чулки. И мама случайно, собирая папу, вовсе не шпионя, просто упаковывая вещи в дорогу, нашла у него эти чулки, явно ей не предназначавшиеся. И всё! Показала ему на дверь. Я-то был уверен, что они развелись. Так что он женился, не будучи разведенным.

Волков: Будучи многоженцем!

Евтушенко: Да нужно было забыть это просто! Устыдить его, и всё! Но мама... Папа говорил, что он делал всё, что мог, но ничего не помогло, она стояла на своем. Не могла простить. Вот такая была мама. Но она сделала великий шаг, самое лучшее, что могла сделать. Она сказала: «Дом наш будет всегда для тебя открыт. Женя стал писать стихи, ты ему привил

любовь к поэзии. И я бы хотела, чтобы ты продолжал ему помогать, воспитывать его». Ведь папа писал очень неплохие стихи.

Волков: Да? Прочтите!

Евтушенко: Знаете, у него есть одно четверостишие просто поразительное. Ему семнадцать лет было.

Отстреливаясь от тоски,
Я убежать хотел куда-то.
Но звезды слишком высоки,
И высока за звезды плата.
Замечательные стихи!

Волков: Прекрасные.

Отец и первые стихи

Евтушенко: Первые стихи... В этом огромную роль сыграл мой папа.

Это он меня научил любить стихи, он замечательно их читал.

Волков: Вот о папе я хотел задать вопрос. Для вас отец был авторитетом?

Евтушенко: Но и мама тоже. Я видел слабости отца.

Волков: Отец вас как бы подготовил к тому, чтобы быть поэтом, да? А ведь даже с этим проблематично в большинстве семей. Меня окружают в Нью-Йорке русские семьи, где родители гуманитарии, но дети не хотят ничего этого – ни стихов читать, ни прозы. Они успешно занимаются своими делами, хорошие компьютерщики, а в доме ни одной книги.

И никакие родительские увещевания на них не действуют, они этого просто не понимают. Они считают – ну как всегда в таких случаях, – что родители безнадежно устарели, ничего не понимают в современной жизни. Наверное, так оно и есть частично.

А вы, Евгений Саныч, когда вы начали писать стихи? Вы этот момент помните, когда решили, что можете сочинять в рифму?

Евтушенко: Помню, потому что папа мне читал стихи. Он читал мне свои стихи, он всего Гумилева на память знал. Гумилев, кстати, не был запрещен. Его можно было купить в букинистических магазинах, я потом покупал, и даже незадорого. Его не запрещали, как ни странно, его просто не переиздавали. Последнее издание его было в советское время – это антология Ежова и Шамурина 1925 года⁸. Она попала мне в руки через поэта Сергея Наровчатова. Я упросил его отдать. Он взял с меня деньги, правда, потому что был тогда не совсем уж богатый человек. Что заплатил за нее в букинистическом, то с меня и спросил. Там, в этой антологии, была и Цветаева, там был Георгий Адамович, там был Ходасевич, его потрясающее стихотворение «Обезьяна» – о сербе с обезьяной, которая, как магараджа, сидела у него на плече. Там были многие имена, которые я просто не слышал.

Волков: Да, это превосходная антология. Для своего времени лучшая – до того момента, как вышла ваша антология «Строфы века».

Евтушенко: Мы как раз об этом говорили с Георгием Викторовичем Адамовичем, когда встретились, он был необычайно удивлен, что я знаю некоторые имена. Он не знал, что была такая антология. Их было мало очень, этих антологий, но они все-таки ходили, хотя их трудно было достать... В общем, папа мне читал стихи, и мне это очень нравилось.

⁸ Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней / сост. И.С. Ежов, Е.И. Шамурин. Москва: Новая Москва, 1925.

Волков: Ну и как вы переступили эту грань – и сами стали сочинять? С какого времени вы стали записывать стихи?

Евтушенко: Первый раз, когда я написал что-то, это было просто в рифму. Ну, не в рифму, рифмы не было, но нечто ритмическое я записал.

Волков: То есть вы научились читать и писать где-то в четыре года?

Евтушенко: Да, в четыре. Да нет, тогда уже мне пять, получается, было. Между четырьмя и пятью. Это тридцать седьмой год.

Я проснулся рано-рано
И стал думать, кем мне быть.
Захотел я быть пиратом,
Грابتь корабли.

А, нет, видите, еще и рифма там...

Волков: Что меня, кстати, и поразило. Ведь вы уже ассонансный, просто будущий Евтушенко весь!

Евтушенко: Ну нет, но какое-то подобие – да. Все-таки ритм уже был. И это было очень странное желание для мальчика из детсада, где он пел песни о товарище Сталине. Бабушка Анна Васильевна, мама папина, бывшая воспитательница детдома, сказала: «Боже мой! Какие наклонности у ребенка!» – ну так, с притворным ужасом. Она была женщиной с замечательным чувством юмора.

Волков: А как это стихотворение сохранилось, вот этот стишочек?

Евтушенко: Записано было где-то. Были какие-то тетрадошки, потом как-то начали теряться. Кто-то растаскивал, мы туда-сюда переезжали... Когда я нашел сохранившиеся, то часть отдал в Стэнфордский университет, и что-то еще осталось у меня дома. И когда мы издавали первый том моего собрания сочинений, я попросил сына Женю просто переписать эти детские стихи своей рукой. Это не была подделка, просто у меня очень плохой почерк был.

Волков: По-моему, он и остался таким.

Евтушенко: Да, у меня почерк так и остался трудночитаемый. Потом я стал писать стихи все время. Они просто из меня полились рекой.

Волков: А когда вы захотели стихи напечатать в первый раз? Когда вообще вас посетила мысль, что стихи можно печатать?

Евтушенко: Посетила рано, поэтому и писал. Уверен был, что всё это пригодится. Давайте я вам прочту что-нибудь из первых стихов, включенных в большую книгу, – тяжелая, между прочим, книжка – «Весь Евтушенко», хотя в ней всего тридцать процентов из того, что я напечатал. Видите, сколько у меня хлама, отсеянного мною самим! Вот эти, например, фрагменты.

Волков: Они так и записывались как фрагменты?

Евтушенко: Нет, были и длинные стихи. Я просто для книги выбирал четверостишия.

Захворал воробушек,
воробушек-хворобушек.
Ранен был он гадкой,
знать бы чьей рогаткой.
Чистит перышки свои —
выпал камушек в крови...

Волков: Сколько вам было лет?

Евтушенко: Это тридцать девятый год, значит, мне было семь лет, и тут уже метафора есть.

Вот еще:

Бабушка, бабушка,
дай мне два оладушка.
Поскорее один съем,
чтоб исчез во мне совсем,
а другой я отнесу
белке рыженькой в лесу.

Тоже тридцать девятый. И вот то, что нравилось всем:

Почему такая стужа?
Почему дышу с трудом?
Потому что тетя Лужа
стала толстым дядей Льдом.

Я вообще любил очень слова просто придумывать.

Волков: Так это уже и политические стихи, «гражданские».

Евтушенко: Вы это насчет «захворал воробушек»? Видно, я что-то чувствовал. Все-таки тридцать девятый год, уже дедушек посадили. И кто знает, может, этим воробушком-хворобушкой я сам себя чувствовал...

А это уже на станции Зима я писал:

Чеснок, чесночок,
дай свой беленький бочок.
У тебя, голубчика,
сто четыре зубчика.
И хотя мне рано в бой,
буду пахнуть я тобой.
Буду пахнуть за Урал,
чтоб ты Гитлера пробрал!

Волков: Двенадцать лет?

Евтушенко: Да. Мы сидели на завалинках с бабками, пели с ними. Да какие бабки?! Там были молодки в основном. Мы с ними и танцевали, и пели. Они частушки сочиняли, я видел, как эти частушки рождаются. Они меня просили иногда помочь им, рифмочку подобрать...

А вот это я выбрал из большого стихотворения. Остальное в нем было не так интересно, а вот строфа хорошая попалась. Я не выдерживал иногда больших стихов... Это почти взрослые стихи:

На войне не надо плакать.
На войне во все века
так черства у хлеба мякоть,
а земля могил мягка.

Я просто поражаюсь, как я это написал.

Волков: Это уже настоящий Евтушенко, правда?

Евтушенко: Сорок пятый год это. А вот следующее, когда... точно – когда в Будапеште наш парламентар шёл с белым флагом и его убили. И это было длинное стихотворение. Я оставил это, потому что папа мне сказал.

Огромный город помрачнел.
Там затаился враг.
Цветком нечаянным белел
парламентарский флаг.

«Вот, Женька, – говорит, – „нечаянным“ – это и есть поэзия».

У папы была знаменитая среди его друзей поэма «Принц Оранский». Она начиналась:

Ночь пахнет пытками, попами и вином.
Еще поют еретикам канон.
После пирушки холостой рыгая
Святой отец лежит на ризах ниц.
Еще угрюмо и замедленно моргая
Подъемными мостами тяжких век,
Шестнадцатый на мир взирает век.
Он начинался. Перья синей цапли
На серых шляпах мерили толпу.
Достаточно одной свинцовой капли,
Чтоб на нее ответил ветер пуль...

Мне безумно это нравилось. Я говорю: «А как же у тебя рифма тут в середине?» – «Это внутренняя рифма», – сказал он. «Ответил ветер пуль...» Здорово было, очень красиво было.

Кстати, он однажды пророчески предсказал одну вещь в своих стихах. У него было стихотворение «Баллада о городах». Там был эпиграф из Киплинга.

Волков: Киплинг был его любимым поэтом?

Евтушенко: Да. «После прерии бесконечной / Королевский кофе я пью» – такой эпиграф. «Папа, – я говорю, – а где у Киплинга эта цитата?» – «Ну, уж не помню!» – он сказал. Вот так же Шкловского однажды я спросил: «Скажите, пожалуйста, а где вы процитировали однажды замечательное из Карлейля якобы?» А Шкловский – он любил импровизировать – сказал: «Настоящий большой художник как Самсон: уносит на себе ворота, которыми его хотят запереть». Я спросил: «Откуда это?» Он сказал: «Ну, какая вам разница?» Вот так и папа говорил. Не знаю, может, он придумал этот самый эпиграф. Я Киплинга прочитал всего – ну ничего похожего нигде не нашел! А стихи папины были такие:

Там, где желтою зыбью текут пески,
Там, где бьет о берег вода,
На высоких и низких обрывах реки
Они стоят – города.
Мой конь не раз копытом стучал
По каменной их груди,
И каждый город меня встречал,
Каждый дом меня звал: «Войди...»

Я даже повторяю жест своего отца сейчас!

И в самый приветливый я входил
На закате синего дня,
Я женщин порой некрасивых любил,
И они любили меня.
И в каждом городе – везде
Помнят бег моего коня,
И есть дом, есть окно и весенний день,
Ожидающие меня.
Когда же стянется сизый дым
Моих костров к берегам,
Ты, наверно, пойдешь, мой старший сын,
По моим неостывшим следам.
И я знаю, что там, на склоне реки,
Где ты будешь поить коня,
По походке твоей, по движенью руки
Узнают и вспомнят меня.

И что же? Так и произошло.

Мы проезжали с друзьями по Байкалу. Был дикий проливной дождь, мы замерзли страшно. И выпить хотелось, а на борту у нас уже ничего не было. И вот мы увидели, как будто хрустальный дворец вырос на берегу. И какие-то звуки музыки оттуда... Кафе придорожное. Мы вошли – нас не пускают: «Уже все закрывается! Че вы вперлись!» – мы же в сапогах грязных, с пудовой грязью с такой. На бога Саваофа похожие. И вдруг мой товарищ Лёня Шинкарев говорит им: «Вот у вас сейчас играет песня „Не спеши“, а это и есть автор песни». – «Да ну! А „Бухенвальдский набат“ случаем не ты написал?» Я сказал: «Это – нет!»

Все-таки нас пропустили. Как я писал потом в поэме «Мама и нейтронная бомба», «мы вошли как домовики в зал». В носках – потому что оставить пришлось за порогом наши резиновые сапоги с грязью пудовой.

Мы вошли, но там уже все закрывалось. Нам сказали: «Вон с буфетчицей говорите!» Я подошел к стойке – меня делегировали, – там стояла такая грудастая, очень милая женщина. Я, вот не поверите, вдруг папу вспомнил. Ну, что-то передается – жестикуляция невольно... Папа, когда был в чем-то виноват, – а он всегда был немножко в чем-то виноват, хотя еще любил маму, – то он, когда оправдывался, как-то потирал рукой лицо, мучил лицо. И я тоже так как-то подставил руку к лицу, помню, и говорю буфетчице: «Видите ли, мы тут простыли, замерзли, все продрогли насквозь...» И вдруг она смотрит-смотрит на меня: «Слушай, а твой папа не Александр Рудольфич?» Это сколько лет прошло! Это был уже восьмидесятый год, если не ошибаюсь, когда я оказался на Байкале. А она сразу: «Папа твой не Александр Рудольфич?» Я говорю: «Ну, Александр Рудольфович. При чем тут мой папа?» – «А ты-то кто будешь? А маму твою как звать? Не Зина?» – «Да, Зина». – «А ты, значит, Женя?! Ой, да чё ж мы тут?» Повела нас всех к себе домой. Потом рассказала, что была поварихой в экспедиции, где мама с папой работали. И папа мой был влюблен, с мамой у них какие-то были сложные отношения, а эта женщина им письма носила из палатки в палатку. И наверняка сама была влюблена в моего папу.

Волков: Ну конечно.

Евтушенко: Это же невероятно, это же бывают сказочные совершенно события! И вот я, когда читаю стихи сам, я слышу – как чрево вещатель, что ли, слышит – какой-то внутренний голос. Я улавливаю, что это из меня папа читает стихи! Слава богу, у меня сохранились его магнитофонные записи.

Волков: Когда-нибудь надо выпустить их на диске. Или с вашим чтением.

Евтушенко: Вы правы, нужно обязательно. Он замечательно читал стихи. И не только свои стихи, конечно.

Волков: Ваш отец – поэт как бы гумилевско-тихоновской традиции.

Евтушенко: Совершенно верно, да. Тихонов, Гумилев и Киплинг. Это всё соединяется у него в одно. Вот так же он привез мне во время войны стихи Симонова, переписанные им.

Волков: А Симонов ранний к этой же группе относится.

Евтушенко: Безусловно – да.

Довоенная Москва

Волков: А какой вам запомнилась довоенная Москва?

Евтушенко: Видите ли, я написал лет в двенадцать:

Человек один – росинка,
а народ, он – как Байкал.
Не разбей меня, Россия,
у своих сибирских скал!

Это я уже в Москве был в тот момент, но впечатление от станции Зима у меня было огромное. Учтите, что меня перевезли в Москву совсем маленького и для меня Сибирь, хотя и была моей родиной, оказалась какой-то экзотикой, когда я очутился там опять. Это совсем другая жизнь была, совсем другие люди.

Волков: И все-таки почему вы довоенную Москву, в общем, избегаете? У вас воспоминаний о ней нет.

Евтушенко: Я не избегаю. Но как вам сказать... Ну вот, например, когда я вернулся из эвакуации в Москву, мне один парень сказал: «Слушай, чё ты дружишь с этим жидом?» Я говорю: «А что такое жид?» Я не слышал на станции Зима слова «жид». Не слышал никогда, ни от кого. Только в Москве я это услышал, увы. Впервые. В школе. Это был шок.

Но вообще-то я ходил в театры, например, уже.

Волков: Какие?

Евтушенко: Я видел спектакль с Валентиной Сперантовой в Театре юного зрителя, где она играла девочку Герду. Очень хороший спектакль. Потом – мама работала тогда в театре Станиславского и Немировича-Данченко, и я ходил на какие-то спектакли... Это было всё до войны.

Волков: А челюскинцев вы помните? Полярные эпопеи?

Евтушенко: Я видел их в кино только. Все эти листовки с неба, встреча героев – я этого не видел. Я единственное куда ходил, так это на демонстрации с мамой, она меня брала всегда, когда они с театром ходили. Люди пели, плясали, было весело. Что-то такое на Мавзолее стояло, что должно было означать товарища Сталина, как сейчас выясняется, его двойники.

Любимое кино

Волков: А первое кино, которое вы вообще увидели, помните? Какие-то довоенные фильмы на вас производили впечатление?

Евтушенко: Вы знаете, на меня производили очень сильное впечатление фильмы во время войны. Вот довоенного фильма, чтоб мне очень понравился, пожалуй, не было.

Волков: Даже «Чапаев»? Что-нибудь такое?

Евтушенко: Нет, «Чапаева» я видел уже во время войны. Но до войны я не помню ни одного фильма. Вот! Помню один фильм, который меня поразил, – «Если завтра война», документальный. А вы его видели?

Волков: Да, он подавался как «документальный». Это 1938 год...

Евтушенко: И вы знаете, что на меня произвело впечатление?

Волков: Победа?

Евтушенко: Да, победа за нами. Разумеется, малой кровью. Но что меня потрясло совершенно: степь, и вдруг земля поднимается – просто земля, – и оттуда высовывается человек с биноклем. Оказывается, в земле как крышка люка канализации, только наверху дерн. И этот человек смотрит в бинокль, военный, наш красноармейский товарищ, потом он спускается по винтовой лестнице, и мы оказываемся в ангаре, где стоят наши «ястребки» и какие-то небольшие самолеты. Дальше, я помню, пересекают какие-то танки нашу территорию, чужие танки, и вдруг из-под земли вылетают эти наши самолеты, и громят их, и бомбят...

Всё оказалось не так, как потом мы выяснили. Нашей авиации запрещено было взлетать, потому что Сталин считал нападение немцев провокацией. И их разбомбили почти всех, почти всю авиацию на земле.

Волков: Югославский диссидент Милован Джилас был потрясен (он об этом написал в своих воспоминаниях о встречах со Сталиным) тем, как Сталин показывал фильм югославской делегации, вот именно этот – «Если завтра война». Был уже конец настоящей войны, и Сталин после просмотра хладнокровно сказал: «Всё так и получилось, как в этом фильме».

Евтушенко: В конечном счете.

Волков: Это называется «малой кровью»? Двадцать миллионов погибло как минимум. А может, и больше. Много больше!

Евтушенко: Вот эту, пожалуй, единственную предвоенную картину помню. Ну, может быть, «Трактористы»...

Волков: А вы сказали как-то, что были влюблены в актрису Марину Ладынину.

Евтушенко: Это правда, но это, по-моему, было немножко уже позднее. Когда ее фильмы выходили? Я помню фильм «Свинарка и пастух».

Волков: Пырьевский, это 1941 год. А «Трактористы», тоже с Ладыниной, – 1939-й.

Евтушенко: Но вообще я влюбился в кино во время войны. Мы смотрели фильмы на заштопанном-перештопанном экране на станции Зима. И моим любимым фильмом были «Два бойца» с Бернесом и Андреевым. Да и не только моим, всей нашей детворы.

Волков: И песня замечательная, «Темная ночь» Никиты Богословского.

Евтушенко: И знаете, я с трепетом показал этот фильм моим детям. Здесь, в Америке, раньше было легче достать фильмы того времени. Многие эмигранты живут этим, смотрят эти фильмы. И у меня они есть. И «Два бойца» очень понравился моим детям.

Волков: А чем, они не говорили?

Евтушенко: Ну, тронуло их просто. Это были с душой сделанные фильмы. Помню еще такой фильм – «Радуга», тоже о войне. Да много хороших, искренне сделанных фильмов, они меня поражали. Я был прогульщиком, надо сказать, и прогуливал не только потому, что играл в футбол – это тоже было причиной, – но еще и ходил в кино, я был киноман. А потом уже посыпались всякие фильмы, так называемые трофейные – «Индийская гробница»...

Волков: «Джунгли», серия о Тарзане...

Евтушенко: Это всё не так было серьезно. А вот настоящее потрясение от кино я испытал, когда увидел фильмы итальянского неореализма. Это всё наше поколение, мы все воспитанники итальянского кино. Все!

И потом, конечно, чаплинские фильмы. Их покупали, видимо, с пропагандистской точки зрения – показать судьбу маленького человека в странах капитализма. Но наши идеологи забыли об одной вещи: настоящее искусство замечательно тем, что люди начинают себя иден-

тифицировать с персонажами. И когда наши люди, которых товарищ Сталин, думая, что делает им комплимент, назвал винтиками, видели Чарли Чаплина в фильме «Новые времена» – помните, там герой попал внутрь механизма и не мог выбраться, как из какого-то капкана, – я абсолютно убежден, что тогда появлялись какие-то неосознанные, подсознательные ассоциации с самими собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.